

Лёнькин салют

1

Кто на Зелёной горке не знал Леньки, не видел в небе стайки его голубей, не слышал его весёлых звонких песен?

Его знали все. Но лучше, чем кто-нибудь, знала бывшая вожатая Женя. У неё на виду подрастал, бегал в школу и на сборы отряда этот белоголовый, оливковый от загара мальчуган с удивительно бойкими синими глазами. Выделяли его общительный нрав, звонкий голос и песни.

Он всегда что-нибудь пел. Летним днём песня звенела на улице, на склонах горы, над берегом бухты, она тихо лилась над слободкой в сумерках уходящего дня. Казалось, он родился с песней и, подобно птице, не мог не петь.

Другой страстью его были голуби. Он любил и холил пернатых друзей. И они платили ему привязанностью – садились на плечи, клевали пищу из рук и, куда бы он ни шёл, летели за ним.

По утрам Женя видела из окна, как Лёнька выбегал из хаты в белой голоплечей майке и серых штанах с пузырями на коленках, лёгким свистом поднимал в небо голубей и исчезал, а через минуту уже появлялся за домом на тропе. Был он тонок и гибок, как лозинка, проворен и быстр, как морской сарган. Издали казалось: ветер, как пушинку, несёт его по крутой тропе в гору. А голуби кружат над ним, точно привязанные невидимой нитью.

Он взбирался на вершину Зелёной горки, откуда открывалась ширь морского простора, и запевал любимую песню «Раскинулось море широко». С вершины, как с поднебесной ramпы, песня лилась неудержимо, привольно, подхваченная и усиленная эхом долины, разносилась над всеми слободками южной окраины города. Он пел, и ему казалось – песня его несётся за море, за горы и его слышат отсюда все люди, весь мир.

Он любил бродить по вершине, поросшей майскими травами. Здесь пахло и морем, и степью, а воздух был прозрачен и чист. Он радовался и знойному солнцу, и круто просоленному ветерку, и запахам цветущих трав, пряным ароматам шалфея, лаванды. Часто пробирался он скалистыми кручами к большой пещере, неподалеку от неё усаживался на камни и, напевая, любовался красавцем городом, раскинувшимся, на холмах, зеленью парков, ультрамариновыми бухтами, голубыми громадами дымящихся на рейде кораблей.

Случалось, на голос прибежали его друзья Димка и Витька, а за ними орава зеленогорских мальчишек, и тогда долго от пещеры неслись воинственные песни и крики – шла игра в войну.

А голуби, такие же весёлые, беспечные, как их хозяин, резвясь, кувыркались, кружили над ними, радуясь голубому раздолью, теплу, солнцу.

В сущности, голуби эти и явились причиной завязавшейся дружбы Жени и Лёньки.

Случилось это в канун войны. Он перешёл в шестой класс, а Женя уже год как работала наборщицей в типографии флотской газеты.

Как-то утром Женя проснулась от Лёнькиной песни; пел он где-то неподалеку. Ещё не время было идти на работу, но и спать не хотелось. Убрала постель, она поставила зеркало на подоконник и начала заплетать косу. Длинная каштановая коса была её гордостью. Уложенная на голове двойным венцом, она украшала девушку, смягчала острые черты лица.

Заплетая косу, Женя поглядывала то в зеркало, то в окошко: Лёньки не было видно.

Дом её был крайним над обрывом, под которым, как струны гигантской арфы, блестяли нити станционных маневровых путей. У дома начиналась узкая дорога; к ней жалась домишки, прилепившиеся к Морозовой горке. Дорога и улочка бежали по краю обрыва, сворачивали влево, выписывая над ним крутую дугу, и вдали, напротив её окна, исчезали за глинистым выступом Зелёной горы. Там, у поворота, каменным гнёздышком прилепилась к скале Лёнькина хатка. Сейчас его там нет. Он поёт где-то рядом.

Но вдруг песня оборвалась. Раздался свист, улюлюканье и затем сердитый голос Лёньки:

– Не человек ты, а зверь! Чем они тебе помешали? Ах ты дрянь... Подбил! Не тронь! Не тронь, тебе говорят!

Распахнув окно, Женя выглянула на улицу. Лёнька стоял, прижавшись спиной к забору соседнего двора; одной рукой он держал на груди голубя, другой отбивался от трёх сорванцов с соседней слободки, норовивших отнять у него подбитую птицу. У старшего в руках была рогатка.

– Всё равно не отдам. Лучше уйдите, а не то плохо будет! – яростно крикнул Лёнька.

Но ребята наседали. Боясь потерять в драке птицу, он опустил её через забор на землю и отчаянно ринулся в бой. Ближнего, с рогаткой, он сшиб с ног, но двое других вцепились в него и повалили. Силы явно были не равны.

Женя выбежала на улицу и разняла драчунов.

– Бери своего голубя и пойдём ко мне, – сказала она.

Лёнька стёр рукавом с губы кровь.

– Ты думаешь, я их боюсь? Нисколечко! Ты видела, как я того, с рогаткой – раз, а он бряк наземь, а другого через себя. Я бы и сам с ними справился, – он жестикулировал и был ещё полон воинственного азарта. – Один на один я бы, как котят, их швырял.

– Знаю, ты парень сильный и не трус, – поспешила успокоить его Женя. – Пойдем, рубашку зашью. Смотри, рукав и ворот разодраны.

Зашить рубаху Лёньке некому. Он круглый сирота. Есть брат Никита и сестра Клава, но брат на работе, а сестра с дочкой Олечкой уехала и вернётся недели через две.

Лёнька перелез через забор, взял раненого голубя и, бережно прижимая его к груди, пошёл за Женей.

На лавочке во дворе, под навесом из виноградных лоз, Женя зашивала рубашку, а Лёнька, сидя на корточках, кормил хлебными крошками голубя. Солнце, просочившись сквозь листву, обсыпало золотыми кружочками его голую, маслянистую от загара спину.

– Хочешь, я вылечу и подарю тебе этого голубя?

Женя улыбнулась. Что она будет с голубем делать? И отказаться неудобно... Стараясь не обидеть Лёньку, она сказала:

– Ты хочешь сделать мне что-то приятное? Да? Тогда приходи лучше вечером и спой что-нибудь. Мы с мамой любим слушать, особенно когда ты поёшь «Раскинулось море широко». Я очень люблю эту песню.

– Тебе нравится, как я пою? – лицо Лёньки залилось краской.

– Очень. Красивый и сильный у тебя голос. Но его ещё надо поставить.

Некоторое время Лёнька молчал, мечтательно глядя на золотевшую под солнцем вершину горы, а потом спросил:

– Ты знаешь, чего я больше всего хочу?

– Чего?

– Выучиться в Москве, а потом петь по радио. Петь для всех-всех людей на свете.
– Ты будешь петь. Вот кончишь школу и поедешь в консерваторию, – сказала Женя, подавая ему рубашку. – Так вечером обязательно приходи, мы с мамой будем ждать, и подруги мои соберутся.

II

В один из летних дней кончились Лёнькины воинственные забавы у пещеры на Зелёной горе.

Война сама пришла к этим каменистым холмам. Фронт опоясал город огненной дугой.

Началась осада. Город дышал раскалённым дыханием фронта.

Женя, как и другие рабочие, день и ночь проводила в типографии. Лёнькин брат ушёл на фронт, а Лёнька с ребятами пионерской дружины дежурил на улице, копал щели, забрасывал песком «зажигалки», по ночам следил за светомаскировкой в хатах.

О себе он мало беспокоился, а за сестру и её маленькую дочку побаивался. Ежедневно с рассветом поднимался гром канонады, и начинались налёты авиации. Снарядов Лёнька не боялся: они пролетали через хаты слободки, укрывшейся за горой, но от бомб где-то надо было прятаться. И он приспособил под убежище погребок, который находился позади дома в скале. Сестра и Олечка днём от бомбёжек спасались в этом убежище, а на ночь, когда налётов не было, возвращались в хату.

Много месяцев длилась осада.

Защитники крепости, отрезанные от Большой земли, напрягали все силы. В окопах не хватало бойцов. Кончались патроны, снаряды, продовольствие. Надвигался голод.

Но прошла зима, по-летнему засияли солнце и море, отцвели иудино дерево, сирень и каштаны, а город-крепость по-прежнему стоял в обороне.

И голос Лёньки, как и раньше, звенел над слободкой. Но теперь в его любимой песне звучали иные слова, тревожные, суровые слова войны. Он запевал, а ребята подхватывали:

Раскинулось море широко
У крымских родных берегов,
Стоит Севастополь сурово,
К решительной битве готов.

И настал час решительной битвы. Начался третий штурм. Три с лишним недели и днём и ночью гремел бой. Город пожирала пожары. Улицы превращались в развалины. И если случалось, что какой-либо дом-ветеран с сажёнными стенами не сдавался и гордо стоял среди бушующего огня, самолёты с злобным воем пикировали на него до тех пор, пока не сравнивали с землёй.

Рано утром в один из таких дней Лёнька заметил дым во дворе своей школы. Крикнув сестре: «Вставай, беги в убежище!», он выскочил из хаты.

Подросшие ребята помогли затушить «зажигалки» и предотвратить в школе пожар. Но тут над Зелёной горкой появились «юнkersы», и бомбы обрушились на слободку. Гора вздрогнула от взрывов и заволокла тучей.

Лёнька кинулся бежать в гору к своей хате. Казалось, сама гора с рёвом и грохотом извергала дым и пламя. Летели камни, визжали осколки, с злобным скрежетом врезаясь в землю. А он бежал, задыхаясь в дыму, падал, поднимался и снова бежал. Ноги дрожали, сердце, казалось, вот-вот разорвется гранатой.

Наконец, он взобрался на гору, выскочил на свою улицу и тут в растерянности остановился.

На месте его хаты ещё курилась жёлтым дымом огромная воронка, по краям которой дыбились груды камней, тлеющих балок. И только рядом, каким-то чудом, устояла часть обрушенной стены...

Даже под землёй, где помещалась теперь флотская типография, пол и стены поминутно вздрагивали. Рассыльный, прибежавший за гранками, сказал, что фашисты бомбят Зелёную горку.

Женя не находила себе места, тревожась за мать. Но лишь в конце дня она освободилась и, получив разрешение, побежала домой.

Как всегда, к вечеру небо от самолётов очистилось, но обстрел продолжался. Пробираясь улицами, где меньше рвалось снарядов, Женя вышла на спуск, ведущий к вокзалу.

Над южными слободками и станцией висела чёрно-сизая туча. Всюду тлели пожарища. Воздух был накалён, пропитан гарью, едким смрадом серы. На привокзальных улицах люди ворошили развалины, что-то отыскивая в них. С Зелёной горки навстречу спускался грузовик, набитый изуродованными, обгоревшими трупами.

Ещё издали Женя увидела свой дом: он уцелел, только стёкла вылетели. Она поднялась в гору и улицы не узнала: всюду серые кучи камней, голые одинокие трубы; уцелевшие хаты – без стёкол, стены иссечены, поцарапаны осколками; на дороге – воронки, поваленные столбы, сломанные деревья, и везде под ногой хруст битого стекла.

А где же Лёнькина хата? И тут на фоне обгаренного заревом неба: она увидела на развалинах сиротливую фигуру мальчика.

– Лёня! – вскрикнула Женя и побежала к нему.

Худой, остроплечий, в разорванной на груди рубашке, он сидел одиноко на краю низкой обрушенной стены. Лицо окаменевшее, застывший взгляд устремлен вдаль, на городские пожарища; казалось, ничто, даже клёкот снарядов над головой и взрывы, не могло вырвать его из оцепенения.

Почему он молчит? Или грохот разрывов заглушил её голос? Женя положила руку на его костлявое плечо.

– Лёня, почему ты сидишь тут один?

Только теперь, как бы очнувшись, он молча посмотрел на нее сухими воспалёнными глазами.

– А где же Клава и Олечка?

Лёнька проглотил горькую от гари слюну и глухо выдохнул:

– Их нет...

– Что с ними? – ужас отразился на лице Жени.

– Убиты... Машина увезла их...

Теперь в лице его ничего не осталось от прежнего безразличия, глаза горели, казалось, в них бушевало отражённое пламя пожаров.

– Скажи, за что они их? За что? Зачем им все это нужно?! – воскликнул он, указывая на развалины. Звери... Звери!

Слезинки выкатились из Лёнькиных глаз, оставив след на тёмных, прокопчённых щеках. Он вскочил и побежал к убежищу. Женя пошла за ним.

В небольшой пещерке она увидела два набитых сеном тюфяка, одеяла, ватную тулупку, рядом ящик с жестяным чайником; котелком и кружками, а в углу клетку с голубями. Это всё, что уцелело.

Понимая, как тяжело Лёньке оставаться в этой каменной норе, Женя сказала:

– Переселяйся к нам, будешь жить пока с мамой. Ей одной тоскливо. Или иди к своей тётке Шуре, она ведь тоже одна.

Но Лёнька наотрез отказался.

III

Фашистские войска вступили в разрушенный, охваченный пожарами город.

И в тот же день Лёнька увидел на улице жандармов – до этого о жандармах он читал только в книжках. Все они, как на подбор, были дюжие, с красными, распаренными жарой лицами, в мышастой серо-зеленоватой форме с белыми металлическими бляхами, на которых был изображён орёл. На улицах появились также люди в чёрных кителях и высоких форменных фуражках (как потом он узнал, – полицаи), которые замазывали на стенах домов и заборах советские лозунги и расклеивали немецкие объявления и приказы.

А на следующий день в районе вокзала начались облавы. Чтобы на людей охотились, как на зверей, – такого Лёнька ещё не видал. Жандармы хватали коммунистов, командиров, советских активистов, евреев и толпами гнали в концентрационные лагеря, наскоро устроенные на территории флотского экипажа. Ночью он слышал трескотню пулемёта и автоматов – за городом шли расстрелы.

После этого он несколько дней на улице почти не появлялся. Вместе с Димкой и Витькой пропадал в степи, лазал по блиндажам и окопам, подбирая винтовки, автоматы, патроны. Часть оружия он закопал под разбитым немецким танком, остальное – в воронках, засыпав землёй и камнями.

– Мне всё сгодится, – говорил он Димке. – Я должен расквитаться с ними за сестру, за всё... Ух, как же я их ненавижу!

Жители города не считали себя побеждёнными. Но если взрослые сурово замкнулись и, затаив ненависть, угрюмо молчали, то Лёнька не умел молчаливо скрывать свои чувства. Его так и подмывало выказать презрение завоевателям, чем-нибудь досадить жандармам и полицаям. Особенно невзлюбил он ближайшего представителя новой власти – уличного старосту Зайнева.

Он и раньше не жаловал этого рябого гнусавого ловкача, смотревшего на всех с какой-то хитрой прищуркой. Он знал, что до войны Зайнева дважды судили за растрату, а теперь прошёл слух, что по его доносу жандармы арестовали трёх рабочих-коммунистов, и все три исчезли бесследно. Став «начальством», Зайнев не замедлил показать себя: чванился, требовал, чтобы его звали «господин староста», вымогал взятку, когда к нему обращались с какой-нибудь просьбой, и изводил мелочными придирками женщин и особенно ребят.

Вот с ним-то и начались стычки.

Однажды Лёнька рано вернулся из степи. День был удачный. Ему посчастливилось найти и припрятать револьвер, ракетницу, две пачки ракет и ещё притащить домой несколько банок мясных консервов и полный вещевой мешок чёрных солдатских сухарей, подобранных возле разбитой полевой кухни.

Выпустив голубей полетать, он вместе с соседскими ребятами уселся на обрученной стене хаты. Ему очень хотелось петь, и он затянул: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...»

В это время Зайнев ходил по хатам и выгонял женщин расчищать улицу от хлама и засыпать снарядные воронки.

Лёнькины голуби, покружив-покружив, подлетали к женщинам, работавшим на дороге, садились на груды мусора и что-то клевали, вспугнутые резким взмахом лопат – поднимались и снова садились.

А Лёнька, делая вид, будто не замечает старосты, нарочито громко, чтобы слышали все, выводил слова припева: «Ки-пучая, мо-гучая, ни-кем не по-бе-ди-мая»...

Некоторое время Зайнев, морщась, посматривал на голубей и косился на Лёньку, а потом подошёл к нему.

– Слышь ты, убери своих голубей и не пускай больше летать, – прогнусавил он.

Лёнька удивлённо уставился на Зайнева.

– Это ж птицы, господин староста, – им положено летать.

– Коль не велят, значит, не положено. Может, они почтовые какие.

– У меня почтовых нет, вы же хорошо знаете.

– Всё равно – полиция не разрешает.

– Хорошо, – ответил Лёнька деланно покорным тоном. – Я не велю им летать, скажу, что полиция запрещает.

Ребята прыснули со смеху. А Зайнев, поняв издёвку, весь налился кровью и повысил голос:

– И брось орать тут советские песни! А не то у меня допоёшься.

– Господин староста, а чем эта песня не хороша? – спросил Лёнька с затаённой усмешкой в глазах. – Вы только послушайте: «Страна моя, Москва моя – ты самая любимая». Разве плохо? Вы небось тоже любите Москву?

– Хватит болтать! Агитатор выискался. Сказано, нельзя петь, и всё тут.

– Как же мне быть? – На лице Лёньки отразилось напускное огорчение. – Учитель пения велел мне петь громко, упражнять голос, а вы запрещаете. Я ж без песен не могу.

– Иди в своё логово и там упражняйся, – Зайнев кивнул на убежище. – А услышу на улице, враз глотку заткну, – пригрозил он и, круто повернувшись, пошёл прочь.

Тут уж Лёньку прорвало:

– А я не боюсь! Продажная шкура!

– Доносчик! Хапуга! Предатель! – дружно подхватили ребята.

Под свист и улюлюканье староста шёл по улице, кусая губы. Перед оравой горластых мальчишек он был бессилен. Женщины перестали расчищать дорогу, переглядывались и посмеивались, и это ещё больше его бесило.

Дня через два Лёнька позже обычного возвращался домой. Спускаясь с горы, он увидел пару своих белячков, суматошно круживших над развалинами хаты. Сердце его забило. Утром, перед уходом он, как всегда, запер всех голубей в клетке. Кто ж их мог выпустить? Ребята? Нет, они этого не сделают. Это кто-то по злобе. И почему только два, а где ж остальные?

Он поспешил опуститься с горы и, подойдя к убежищу, увидел, что клетка открыта, а птиц нет.

– Где же голуби? – спросил он подбежавших мальчишек.

– Это всё староста, – оказал один из них. – Это он привел жандармов и забрал твоих голубей. Только два беляка улетели.

– Тьфу, гадина! – вскипел Лёнька. Потеря любимцев огорчила и ещё воинственнее настроила его. – Ну ладно, он меня попомнит!

И Лёнька постоянно напоминал о себе. Увидев выходящего из дому старосту, демонстративно усаживался на развалинах стены и начинал петь советские песни. Ребята, держа его сторону, сбегались к нему, готовые присоединить свои голоса.

Заметив издали Лёньку с ватагой ребят, Зайнев, боясь опять быть освиственным, предусмотрительно сворачивал в первый двор или, сделав вид, будто что-то позабыл, возвращался домой. Появлялся снова только тогда, когда торжествующая ватага мальчишек очищала поле боя.

И Женя, и соседи уговаривали Лёньку перестать дразнить и озлоблять старосту.

– А что он мне сделает? Плевать я на него хотел, – возражал он, не подозревая, какого он приобрел коварного и мстительного врага.

Прошло лето, наступила зима. Жилось Лёньке нелегко. Он голодал. Голова кружилась, рёбра выперли наружу, а живот, казалось, совсем прирос к спине.

Новая власть брала измором, голодом, принуждая население работать. Но и те, кто, не выдержав, шли на работу, получали птичий паёк – стакан проса на день. Такие же, как Лёнька и его товарищи, вообще обрекались на вымирание.

Но не таков был Лёнька, чтобы столь бесславно свести счёты с жизнью. Он всегда готов был постоять за себя.

Каждое утро он сажал за пазуху своих белячков (боялся теперь их оставлять), брал пустой мешок и с оравой таких же, как и сам, голодных мальчишек отправлялся на станцию или пристань, где измождённые голодом советские пленные под конвоем разгружали продовольствие и фураж.

На пристани Лёнька выпускал голубей поклевать рассыпанное зерно и припасал им корм на дом. Здесь, в портовой суতোлке заводились, знакомства с пленными матросами. Лёнька помогал им припрятывать в камнях развалин кули и ящики с продовольствием: глядишь, и перепадёт банка консервов, а то и круг колбасы или кусок сыру.

После удачного промысла он один, либо с друзьями шел бродить по городу, глядеть, как немецкие саперы строят доты на площадях и бульварах, на появившиеся там прожекторы и зенитки. Он первым узнавал все городские новости.

Сегодня он бродил в одиночку, даже без голубей. Утром лил дождь, по-зимнему было холодно, сыро, и он, жалея птиц, запер их в клетку и оставил у соседей. Ребята с пристани разбежались по домам, а он свернул у вокзала на площадь и застрял у доски, сплошь заклеенной объявлениями и приказами фашистского командования.

Все бумажки были им прочитаны и порваны, но одну, ошеломившую его своим содержанием, он спрятал в карман ватника и поспешил подальше отойти от доски. Эту бумажку он решил показать Жене. Она наверняка удивится и даже обрадуется.

IV

Дверь распахнулась, и Лёнька вихрем влетел в Женину комнату. Кепка его съехала на затылок, лицо красное, глаза светятся яркой синью, как всегда, когда он сильно взволнован.

– Нынче на улицу не выходи – облава! – одним духом выпалил он с порога. – Сейчас на Татарской, а потом будет у нас.

– Спасибо, что прибежал. А я как раз собиралась к Ане. Впрочем, чего мне бояться? Я ведь больна, – Женя усмехнулась. – Ишь, какая стала...

Она отложила в сторону книгу, которую читала, и, взяв с туалетного столика зеркало, заглянула в него.

Худое, осунувшееся лицо налито лимонной желтизной, глаза запали и потускнели, как переспевшие вишни, нос заострился, и скулы стали заметней. Только тугая каштановая коса, уложенная короной, была такой же, как и прежде, но теперь она ещё сильнее подчёркивала желтизну лица.

– Страшилище. Смотреть противно, – сказала Женя, ставя зеркало на место.

– Всё равно, никуда не ходи. Держись! – настаивал Лёнька, считавший своим долгом заботиться о ней.

Он изумлялся необычайной стойкости и упорству, какие проявляла Женя, сопротивляясь фашистским приказам, предписывавшим всем идти на работу, и искренне возмущался, когда узнавал, что кто-нибудь из жителей слободки поступал на службу к немцам. Таких он называл предателями.

– Ты прав, – соглашалась Женя. – Лучше уж помереть с голоду или же отравиться, чем идти работать на них и навек себя опозорить.

– Главное, не давай им зацепки, не попадай в облаву, – наставлял Лёнька. – А то скажут: больная, а ходит.

Облавы! Последний месяц они устраивались каждую неделю. Шла охота на молодёжь – на шахтах и заводах Рура не хватало рабочих рук. Спасаясь от жандармов, парни и девчата прятались за городом в пещерах, в уличных развалинах, перебежали в районы, где облавы уже прошли. И всё же многие попадались. Две партии юношей и девушек были насильно увезены в Германию.

Не брали только больных. Этим Женя и воспользовалась: пила настой из трав и сказывалась больной. Знакомый больничный врач выдал справку о болезни, и это избавило её от страшной участи попасть в неволю. Эта же справка освобождала от необходимости немедленно поступать на работу, как того требовали оккупанты, грозившие за саботаж расстрелом.

И Женя знала – это не пустая угроза: каждую ночь с балаклавского шоссе доносился зловещий треск автоматов.

Несколько раз уже её вызывали на биржу и посылали на работу, но она, предъявив справки врача, добивалась отсрочки. Так тянула она уже несколько месяцев. На бирже относились к ней всё недоверчивей и строже. Последний раз немка-переводчица предупредила, что, если через две недели она не выйдет на работу, её пошлют на переосвидетельствование к немецкому военному врачу. И Женя знала, что за этим последует.

Срок истекал. Она пила зелье, терпеливо переносила тошноты и боли, запасалась новыми медицинскими справками и с гнетущим чувством обречённости ожидала неминуемой развязки.

Приходили подруги поведать, прибежал Лёнька, и тогда будто свежий ветер врывается к ней в дом. Лёнька как-то особенно умел отвлекать её от тяжёлых докучливых мыслей: он всегда приносил кучу новостей с пристани, со станции и слободки, пел песни, развлекал её. И сегодня она была рада его появлению.

– Ну, Лёнь, рассказывай, что нового в городе? – полюбопытствовала она.

– Ух, я и позабыл! Есть такая новость, такая новость – удивишься! – Лёнька достал из кармана бумажку. – Смотри, тут даже написано: «Прочитай и передай товарищу».

– Покажи, покажи.

Лёнька протянул ей двойной лист ученической тетради, мелко, исписанный печатными буквами, чётко выведенными пером от руки. Вверху крупно: «Обращение к населению».

Женя читала, затаив дыхание. Это было страстное, негодующее слово протеста против диких расправ оккупантов с населением и истребления советских людей. И в то же время это был смелый призыв к действию. Призыв отказываться от работы и где только можно наносить ущерб врагу: выводить из строя станки, машины, устраивать аварии, расхищать и портить грузы. Это был голос, призывавший к открытой борьбе.

– Кто это пишет? – Женя заглянула в конец, но там подписи не оказалось.

– Известно, партизаны, – сказал Лёнька, – и смотри, тут прямо сказано: не работать на немцев. Значит, ты правильно поступаешь.

– Знаю, что правильно. А вот если новой отсрочки не получу, то как?

– И ты пойдёшь к ним? – брови Лёньки поползли вверх. – Ни за что не поверю. Ты не такая, не станешь им кланяться.

– Ну, а если придётся?

– Зачем ты так говоришь? Что, я тебя не знаю! – запальчиво возразил Лёнька. – Ты никогда не пойдешь против своих, не станешь предательницей.

Смешной ты, право. Вот не получу послезавтра отсрочки на бирже, и посадят меня в концлагерь. А там силой, под конвоем заставят.

– Ну, силой – дело другое. Пленных тоже силой гонят на пристань. А так, чтобы сама, – не поверю.

Вскоре Лёнька ушёл кормить голубей, а Женя ещё раз перечитала листовку и крепко задумалась. Гневные, жгучие слова волновали, брали за сердце. Они были обращены и к ней, и её звали к протесту, к борьбе.

А разве она боролась? Да, она саботировала фашистские приказы, притворяясь больной, уваливала от работы, как суслик, пряталась в своей норе. Но ведь это лишь пассивное сопротивление. Разве так должен вести себя настоящий боец, коммунист? Она все время думала только о себе, как бы выкрутиться, как бы спасти себя. А что она сделала, чтобы помочь тем, чья кровь льётся рекою там, где решается ныне судьба страны и ее собственная судьба? Ни-че-го! Есть ли у неё иной путь? Чем именно она может нанести ущерб врагу и что она должна для этого сделать?

Женя не находила ответа. Она укоряла себя в инертности и в то же время не видела выхода из тупика.

V

Тётя Шура уговорила Лёньку прийти к ней помыться; заодно она собиралась постирать и заштопать его бельё. Приняв это как неизбежную повинность, Лёнька снёс в соседнюю хату к Жениной подруге Ане своё барахлишко, которое боялся оставить без присмотра, взял с собой двух голубей и пошёл на соседнюю слободку. Два дня он провёл у тети Шуры, а на третий утром вернулся к себе.

Утро было холодное. С гор дул норд-ост, серые низкие облака ползли над холмами, предвещая снег. Но что дождь или снег и вообще любая погода, когда в животе гудит целый оркестр? Кажется, съел бы подмётку. У тети Шуры было совсем не густо: с вечера две вареные картошки, а утром лепёшка из картофельных очистков с древесной корой. Разве этим наешься? Ещё больше есть хочется, и в животе пищит и урчит. Правда, у него есть банка консервов, но это – нз. А нужно подумать и о завтрашнем дне.

И Лёнька собрался на станцию. Повстречавшиеся утром ребята оказали, что нынче пленные будут грузить продовольственные посылки немецких солдат и офицеров. «Награбили у нас, а теперь шлют, – подумал он. – Надо сходить. Вдруг какой-нибудь ящик случайно грохнется наземь и разлетится. Гляди, что-то и перепадёт».

Но прежде чем идти на станцию, он заскочил к Ане за мешком, с которым всегда ходил на пристань.

– А ты знаешь новость? – опросила Аня.

– Какую?

– Женя вчера была на бирже, а нынче пошла работать в типографию городской управы.

– Что она, ненормальная, что сама пойдёт к немцам? Ерунда! И как только тебе не стыдно наговаривать на нее! – возмутился Лёнька. – А ещё называешься подругой!

– Чего ты ершишься? Не веришь – спроси сам.

Лёнька выскочил из хаты. Быть не может, чтоб Женя пошла добровольно к фашистам! Она сама говорила – лучше умереть с голоду. Зачем же тогда она мучила себя, пила всякую отраву и запасалась разными справками? Чепуха! Не могла она так поступить. И вообще она не из тех, кто сдаётся. Аня тут что-то не поняла или напутала. И что бы она ни говорила, он не поверит. Не поверит, пока сам своими глазами не убедится.

Забыв про станцию и посылки, Лёнька закрыл в клетке голубей и побежал к Жене. Но дом оказался на замке. Лёнька задумался. Мать её иногда ходит на базар обменивать одежду или ещё что-нибудь на продукты. А где Женя? Ей-то выходить, нельзя, куда она могла деться? Неужто и в самом деле пошла в управу? При этой мысли у него заныло в груди. Он должен сейчас же пойти, проверить. И если всё обстоит так, как говорит Аня, тогда... тогда, значит, Женя изменница! Говорит одно, а думает и делает другое.

Лёнька напрямик, по косогору опустился на железнодорожные пути и через станцию побежал в город.

Небо заволокли облака, разыгрался ветер, ледяной, пронизывающий, посыпала сухая снежная крупа. Подхваченная ветром, она била в лицо, попадала за ворот, пробиравась за распахнутый ватник. Но Лёнька ничего не замечал – ему было жарко.

Городская управа помещалась в единственном уцелевшем здании. Сохранилось оно при бомбёжках потому, что стояло на площади в стороне от главных улиц. Лёнька не пошёл к управе. Зачем лишний раз привлекать к себе внимание жандармов и полицейских? Он забрался в развалины дома напротив, свернулся в комок за бетонной глыбой и не сводил глаз с подъезда, возле которого взад-вперед прохаживался жандарм. Всякий, кто пересекал площадь или выходил из управы, был у Лёньки на виду.

В море бушевал шторм. Лёнька видел из своей засады, как рядом, за колоннами Графской пристани, мутно-зелёные кипящие пеной волны злобно бились, шипели в камнях и, перехлестнув через них, с оглушительным грохотом ударяли в бетонную набережную. Ветер, как назло, не унимался, завихряясь в камнях, свистел, обжигал лицо.

Долго Лёнька просидел. Руки и ноги совсем заоченели, до тошноты хотелось есть, но он терпел.

Уже кончился в управе служебный день, уже вышли последние посетители; кутаясь в меховой воротник, прошел городской голова, а Жени всё не было. В душе Лёнька радовался этому и старался уверить себя в том, что он зря всполошился, что он её тут не увидит. Быть может, она ходила к подруге и теперь давно уже дома?!

Но вот опять дверь распахнулась, и сердце его замерло: в подъезде появилась Женя. На ней было старое осеннее пальто, а в руках коричневая сумка. Лёнька тысячу раз видел, как до войны и во время осады она с этой сумкой ходила на работу в типографию флотской газеты, носила в ней завтрак. «А теперь небось тащит паёк, полученный у фашистов», – подумал он и яростно стукнул окоченевшей рукой по камню.

Сомнений не оставалось: она не устояла. И это Женя, его вожатая, которой он так верил! Которая всегда для него была примером стойкости, честности, мужества! Кому же тогда верить?

Выждав, когда Женя перешла площадь и скрылась из виду, Лёнька вылез из развалин. Спрятав руки в рукава и весь съёжившись, он медленно побрёл домой.

«Зачем?.. Почему она так поступила?» – спрашивал он себя.

Слезы душили его, застилали глаза...

VI

А могла ли Женя поступить иначе?

Накануне, возвращаясь с биржи, она забрела на Исторический бульвар. Свернув в сторону от памятника Тотлебену, вышла к Язоновскому редуту и устало опустилась на каменный парапет впередиobelиска.

Здесь, за кустарником лоха и деревьями миндаля, было безлюдно, тихо. Впервые за много недель небо прояснилось, и солнце, высоко поднявшись над развалинами панорамы, ласково пригревало. Жене хотелось побыть в тиши, собраться с мыслями. Вынув из кармана жёлтый листок бумаги, она с чувством гадливости развернула его и прочла: «...Направляется наборщицей в типографию городской управы».

Да, отказ! Отказ и вот этот дрянной жёлтый листок – таков финал. Жёлтый – предательский цвет: он таит в себе ложь, коварство, обман.

Когда ей на бирже вручили эту бумажку, она почувствовала, что ноги подкашиваются и кровь отливает от лица. Она вышла из помещения и в растерянности остановилась на пороге. Вероятно, вид у неё был ужасный, так как вслед за ней выскочила черноглазая, с вздёрнутым носиком регистраторша Даша и стала её успокаивать и утешать. Милая, славная девушка, она сама дрожала, оглядывалась, нет ли кого поблизости, и шептала:

– Ты не переживай, не раздумывай. Иди в типографию. Это всё-таки лучше, – Даша оглянулась и опять зашептала: – Шеф велел тебя, если откажешься, включить в список на отправку в Германию. Потому-то тебе и дали этот жёлтый листок

Итак, всё рухнуло. Полгода назад она стояла над бездной. Искала обходные тропы, петляла, кружила, и всё, оказывается, напрасно. Теперь она опять на краю той же пропасти. Все пошло прахом.

Солнце давно перевалило за полдень, а Женя сидела недвижно, устремив затуманенный взор вдаль, на серую извилистую кромку Мекензевых гор.

Из тяжкого раздумья её вывел голос, донёсшийся с нижней тропы под редутом. Она оглянулась и увидела парня в чёрном бобриковом пальто и серой клетчатой кепке, из-под которой выбивались ‘светло-русые волосы.

– Игорь! – радостно воскликнула она.

– А я тебя разыскиваю. Заходил к тебе, а мама сказала, что ты на бирже.

Игорь свернул с тропы к редуту. Казалось, всё в нём – от маленьких ямочек на широком лице до непокорной пряди над большим светлым лбом – сияло, светилось радостной улыбкой. Поднимаясь к парапету, он не сводил глаз с Жени.

– Что с тобой? На тебе ведь лица нет. Тебе плохо? – участливо спросил он, крепко сжимая ее руку.

– Хорошо, что ты тут объявился. Если б ты знал, как мне нужно с тобой поговорить. И как это я сама не догадалась забежать к тебе, ведь ты тут рядом.

– Что у тебя стряслось?

– На, сперва почитай, а лотом всё расскажу по порядку, – Женя дала ему направление биржи.

Игоря она знала по школе. Несколько лет они сидели за одной партой, в одно время вступили в комсомол и когда-то крепко дружили. Втайне ей нравился тогда этот зеленоглазый упрямый паренёк. Но она и виду, конечно, не подавала. Окончив седьмой класс, Игорь ушёл в строительный техникум. У него появились свои интересы, новые друзья, и они виделись редко. Дружба их сама собой оборвалась. Но она всё время

издали следила за ним, знала, что накануне войны он работал уже в портовых мастерских, вступил в партию и усидчиво занимался дома, готовился к поступлению в строительный институт. И она, работая в типографии, тоже готовилась к экзаменам в полиграфический. Встречались они всегда случайно, то в кино, то на улице. А со дня войны она больше года не видела его. Лишь месяца три назад он как-то прибежал к ней домой.

– Зашёл по старой дружбе. Выручай, – сказал он, отбрасывая назад длинные волосы. Помоги достать два советских паспорта и кое-что из одежды. Скажу прямо: надо спасти двух коммунистов, бежавших из концлагеря.

Откровенность и прямота, с какой он говорил, подтверждали его непошатнувшееся к ней доверие и желание иметь в ней союзника.

Через два дня Женя передала ему паспорта, которые раздобыла через подруг, а также отцовский пиджак и брюки. Но с тех пор Игорь не появлялся. И вот эта встреча...

Большое счастье иметь друга, товарища, которому, не таясь, можно вылить всю накипь души, всё наболевшее, раскрыть сокровенные мысли. Только сейчас Женя это поняла. Она рассказала, ничего не утаивая, а Игорь, слушая, слегка морщил лоб, как в школе, когда решал сложную замысловатую задачу. И эта сосредоточенность его ещё больше располагала к откровенности. Женя рассказала, как, симулируя болезнь, избавилась от высылки в Германию, о мытарствах на бирже, о листовке, принесённой Лёнкой, о своих мятущихся мыслях, сомнениях, и, наконец, о сегодняшнем посещении биржи и тупике, в который зашла.

– Ты хочешь знать, как бы я поступил – спросил Игорь.

– Да.

– Скажу тебе начистоту. Если бы мне дали вот эту жёлтую бумажку, я бы вприпрыжку поскакал с ней в управу.

– Как? Значит, ради опасения своей шкуры идти наниматься к фашистам? – щёки Жени порозовели.

– Всё зависит от цели, какую ты поставишь перед собой. Да, именно от цели.

Игорь оглянулся по сторонам и, убедившись, что на аллеях бульвара никого нет, продолжал:

– Если ты пойдешь, как ты выражаешься, спасти шкуру – это одно. А если у тебя есть другая, высокая цель: помочь Родине, поддержать товарищей – это уже дело иное.

Лицо его в эту минуту казалось Жене суровым, а глаза искрились лукавством. Он опять оглянулся и, понизив голос, продолжал:

– Ты, Женя, наивняк. Типография – это же клад! Как ты думаешь, тем, кто писал воззвание, которое; принёс тебе Лёнька, им не нужны шрифты, бумага, краски? Да и сама ты, как наборщица, позарез им нужна! Ну что ты уставилась на меня, как на чучело? Неужто и теперь не ясно?

– Как будто яснее стало, – сказала Женя. Лицо её побледнело от волнения. Но я должна знать, кому же именно требуется моя помощь?

– Вот это уже иной разговор! – одобрительно улыбнулся Игорь. – Мы ведь с тобой старые друзья, и нам нечего друг перед другом таиться. Скажу прямо: мне нужна и моим товарищам. Во как нужна, – рука Игоря коснулась горла. – За тем и ходил я к тебе домой и на биржу шёл тебя разыскивать.

– А кто эти товарищи? Можно ли им верить?

– Те самые, для кого ты паспорта доставала, когда они бежали из концлагеря.

Они долго ещё вели разговор о предстоящем деле и слухах о поражении немецких войск на Волге. Потом Игорь, подтрунивая над собой, рассказывал, как он из техника

превратился в учителя школы «фашистского райха»; вспоминали, конечно, и школьных друзей, товарищей, погибших в осаде и угнанных в Германию. А когда, наконец, Игорь взглянул на часы, оказалось, что времени им едва-едва хватит поспеть домой до наступления комендантского часа.

Прощаясь, Игорь сказал:

– Итак, завтра иди и, как только приступишь к работе, немедленно меня извести.

VII

В этот выходной день Женя спала долго, отсыпаясь за всю неделю. Проснулась она с ощущением необычайной лёгкости, светлой душевной приподнятости и радостного удовлетворения, какое испытывает человек, завершивший долгий тяжёлый труд или какое-либо значительное дело.

Состояние это не покидало её и когда она убирала квартиру и теперь, когда помогала матери полоть грядки баклажанов. Даже расслабляющий зной не мог погасить приятных ощущений.

Давно у неё не было такого чудесного настроения. Очень давно.

Дни, недели, месяцы скакали в какой-то неутомимой бешеной гонке. Сколько было смертельного риска, волнений, изнурительного труда, бессонных ночей! И вот она у порога того, к чему стремилась всей силой души.

Встреча с Игорем на Язоновском редуте помогла ей найти свой путь. Началась настоящая жизнь, полная горения, высокого накала, жизнь, захватившая её всю без остатка, когда, кажется, в сутках не хватает часов, чтобы все успеть сделать, и нет времени для сна.

Днём в типографии чувствуешь себя, точно на тончайшем льду: под ногой хруст, неосторожный шаг – и провал в полынью. А идти надо, идти смело, рискуя. Делать всё, что велят, и в то же время, улучив момент, кое-что незаметно взять, припрятать, а затем на глазах у шефа и постового жандарма суметь вынести спрятанное из типографии. А дома ни минуты промедления: поесть, переодеться и бежать. Бежать, чтобы до наступления комендантского часа, не рискуя попасть в руки жандармов, успеть проскочить на конспиративную квартиру. А там разбирать пробельный материал и шрифты, принесённые с собой и раздобытые Игорем и его друзьями, показывать одним, какие сделать кассы, верстальную доску, валик; других учить наборному делу – одной ведь не справиться. И в полночь у приёмника, затаив дыхание, ждать и слушать позывные Москвы и потом вместе с Игорем дрожащей рукой записывать сводки с фронта.

Домой возвращалась под утро такая усталая, что падала на кровать и мгновенно засыпала. А уже часа через два вскакивала снова, чтобы бежать на работу в управу.

Сколько было таких дней и бессонных ночей? Не перечить! Но зато какую бурную радость испытала она в эту последнюю ночь, когда, наконец, сняли оттиск первой печатной листовки, пропитанной острым, необычайно волнующим запахом типографской краски! Восторга и ликования её, Игоря и всех товарищей не передать словами. Вероятно, нечто подобное испытывает изобретатель или художник, любясь творением своего ума и рук. Нет, это даже нечто большее. Их творение значительней, выше, оно не только вдохновляет людей, организует и сплачивает их, но и несёт в себе страшную для врага взрывчатую силу. И сила эта во сто крат больше всяких бомб.

Да, она счастлива! В сравнении со всем пережитым в эту ночь не такими уж тяжкими кажутся те огорчения и неприятности, которые выпали ей тут на слободке, после поступления на работу. Признаться, порой они задевали её и больно ранили. Особенно в первые дни. Обидно было видеть косые взгляды, холодные, отчуждённые лица,

видеть, как люди на улице отворачиваются, слышать, как мальчишки кричат тебе вслед: «Изменница! За просо продалась фашистам!» Даже Лёнька и тот отшатнулся, перестал заходить.

Трудно было, тяжело, больно. Но сознание своей правоты дало ей силы и через это пройти.

А что с Лёнькой так вышло, это, пожалуй, даже лучше. По крайней мере теперь всем на слободке известно, что он от неё отошёл, тем безопаснее его привлечь. Есть у неё к нему ключик, она знает, как его повернуть и снова заставить Лёньку верить себе, воспламенить его отзывчивую романтическую душу. И это надо сделать не откладывая. Без него ей не обойтись, не выполнить задания Игоря. Надо сегодня же пойти к Ане, попросить позвать его в дом и поговорить с ним.

Занятая своими мыслями, Женя не заметила, как мать, закончив работу на своей грядке, ушла. Она тоже поторопилась дополоть грядку и поспешила скрыться в тени под густой тенью виноградных лоз. Жара разморила её. Она легла на скамью и сквозь ажурную вязь листвы смотрела в небо.

Тишина. Не шелхнутся ветви, листья, травы: всё замерло в душной истоме. Только назойливо стрекочут цикады; без умолку поют свою бесконечную монотонную песню, усыпляя слух, навевая сон. Женя закрыла глаза...

И вдруг сквозь чуткую дрему ей почудилась Лёнькина песня. Она села на лавке, прислушиваясь. Да, это он. Он у забора, в том самом месте, где когда-то из-за голубя дрался с ребятами; он идёт мимо, вероятно, на Сапунскую улицу или в Делегардову балку. Удобный случай.

Женя встала и поспешила к воротам. Выждав, когда Лёнька поравняется с нею, приоткрыла калитку:

– Лёня, заходи ко мне, – позвала она.

Неожиданное появление Жени застигло Лёньку врасплох, и он на миг растерялся.

– Ну, что ж ты стоишь? Заходи. Если зову, значит, есть серьёзное дело.

Женя сказала это спокойно, твёрдо. В голосе её прозвучали знакомые Лёньке убеждающие властные нотки, какие он часто слышал раньше в школе, когда она была вожакой. Мгновенье он ещё колебался, а потом свернул во двор. На пороге комнаты остановился; глаза, как синие иглы, кололи Женю.

– Говори, зачем звала?

– Помнишь, ты приносил мне листовку? – спросила Женя, делая вид, что не замечает его неприязненной настороженности.

– Ну, помню. А что?

– Теперь и я хочу показать тебе кое-что. Подожди тут. – Женя вышла из комнаты и вскоре вернулась, держа в руке три печатных листка. – На-ка, почитай.

Лёнька сперва недоверчиво покосился, нехотя взял одну из листовок, но, прочитав заголовок, сразу впился в неё. Женя стояла у окна, следя, как бы кто с улицы не зашёл в дом, и изредка поглядывала на Лёньку. Она улыбнулась, заметив, как вдруг задрожала его веснушчатая рука, державшая листок.

– Так это же наша! Тут и сводка с фронта! – воскликнул он, не отрывая глаз от листка. Гляди, немцев уже выперли из Донбасса. И наши почти до Крыма дошли!

«Вот и загорелся», – подумала Женя, наблюдая, как на живом, подвижном лице Лёньки одновременно отражались изумление, растерянность, восхищение – целая гамма разноречивых чувств, охвативших его в эту минуту.

Лёнька кончил читать. Достаточно было взглянуть на его сияющие, свежеомытые синью глаза, чтобы понять, что он уже не тот, каким был четверть часа назад.

– Значит, это ты сама... Ты прости. – Он смутился и покраснел до слёз. – Я думал, ты и в самом деле сдалась, на поклон к ним пошла.

Он делал героические усилия, стараясь овладеть собой, но это ему не удавалось. А Женя, как бы не замечая, сказала:

– Ты посмотри, тут тоже написано: «Прочитай и передай товарищу».

– Знаешь что? Давай их мне. Я сегодня же ночью расклею! – горячо воскликнул Лёнька и замер в ожидании.

Женя предполагала, что он именно так и скажет, но не спешила с ответом.

– Ты во мне сомневаешься? Думаешь, проболтаюсь? Я скорее язык откушу. Вот клянусь! – Лёнька поднял руку над головой. – А если схватят – пойду на смерть, на пытки, а не выдам. Я такой же коммунист и патриот, как и ты. И ты ведь знаешь, как я их ненавижу, как хочу им отомстить за сестру и Олюшку! Или ты мне не веришь?

– Не верила – не показала бы листовок, но ты горяч, а тут нужны выдержка, осмотрительность. Если хочешь помогать, то при условии...

– Каком?

– Никому ничего не болтать – это первое. Делать вид, что со мной враждуешь, и приходиться только по вызову и так, чтобы никто тебя не видел. И ещё: не допекать своими песнями старосту. Ты этим только навредишь и себе, и мне. Он настроит донос, и тебя арестуют.

– Я согласен на всё. На всё! – Лёнька умоляюще смотрел на Женю. – Если хочешь, я даже совсем перестану петь.

– Ну зачем же? – улыбнулась Женя. – Пой, только знай, что и где петь. А вообще пореже попадайся старосте на глаза.

Напоследок она предупредила, что будет вызывать его к себе через Аню.

Захватив пачку листовок, Лёнька не пошёл на улицу, а перемахнул во дворе через забор и, напевая, побрел тропой позади огородов.

В эту ночь Лёнька до петухов, где перебегая, где крадучись, колесил по крутым кривым улочкам слободы. И там, где скользил он бесшумной тенью, листовки застревали в щелях дверей и ставен, оставались на подоконниках и у порогов, придавленные камешком. Последний листок Лёнька прилепил вишнёвым клеем к стене хаты уличного старосты.

Утром, хоть и не выспался, он встал спозаранку и незаметно из убежища выглянул на улицу.

Ожидал он не долго. Вот скрипнули калитка; в палисадник вышла женщина и, открывая ставни, подобрала листовку, упавшую наземь. С радостной дрожью Лёнька наблюдал за тем, как она, развернув, прочла листок, а потом оглянулась и бросилась в хату. В соседнем доме вышел на крыльцо Лёнькин одноклассник Санька. Подняв у порога листовку, он свистнул и понёсся через улицу к товарищу показать свою находку.

А вот, наконец, появился и Зайнев. Он удивленно уставился на листок, висевший на стене, и с минуту стоял точно вкопанный. Потом отвратительно выругался и попробовал осторожно отклеить листок, но бумага рвалась и расплзлась. Зайнев побежал в хату и спустя немного появился с кухонным ножом в руке.

Лёнька со злорадством следил, как староста, поддевая ножом бумагу и осторожно соскабливая клей, старался снять листовку в целости, не повредив её. «Небось в комендатуру помчится с доносом», – подумал он.

И он не ошибся. Сняв листовку, Зайнев аккуратно свернул её, положил в карман и заторопился в город.

Часа через два на слободку вкатил грузовик с жандармами. Началась облава на «партизан».

VIII

Крутая, еле заметная тропка, извиваясь, вползла на вершину Зелёной горы и повела Лёньку дальше.

День был солнечный, тихий. Слегка морозило. Дали ясны, воздух неподвижен и удивительно чист, а море не по-зимнему спокойное и синее-синее. На горизонте оно казалось Лёньке похожим на длинный, острый меч, который врезался в белокаменную твердь берегов. И где он вонзился глубже, там образовались широкие синие разрезы бухт.

А вот и бугор, за которым пещера, где когда-то он с ребятами играл в войну. Давно это было, прошло уже больше двух лет. Потом в этой пещере опасались от бомбёжек жители Зелёной горки. Случалось и ему тут отсиживаться, а теперь она будет пристанищем матросам, бежавшим из концлагеря.

Но сумел ли боцман найти эту тропку к пещере? Её и днём-то мудрено заметить, не то что ночью. Эх, кабы все вышло так, как задумали, тогда бы и он ушёл с ними в лес к партизанам и стал бы мстить оккупантам.

До сих пор ему здорово везло. Ух, и насолил же он за это время фашистам! Нынче все на слободках над ними смеются, ни в грош не ставят их крики по радио о мнимых победах на фронте. Из подпольных листовок все знают, как набили им морду под Курском и что с Украины их гонят в три шеи. Фашисты ужас как злятся! В каждом приказе грозят расстрелом, если поймают с листовкой. Пусть побесятся. Он им ещё перцу подсыплет.

А Жене спасибо: какое большое и важное дело она нашла для него! И до чего интересно водить за нос жандармов и полицаев. Они до сих пор не догадываются и думают, что партизаны из лесу приносят листовки. И все шастают, рыщут вокруг слободки. Просто умора!

Но всего забавней дурачить по ночам жандармские засады. Разносить ночью листовки, когда лягавые тебя вынюхивают, – это не бычков в бухте ловить. Уметь надо! Тут перво-наперво покажи себя как разведчик: выследи, где засада, и потом уж действуй без прошиба. Ползи на брюхе по огородам, перебирайся через развалины и, чтобы камень не загремел, не хрустнул осколок стекла под ногой, осторожно обходи засаду, подбирайся к хате и клади листовки под дверь или наклеивай. Вот это класс! Иной раз ползёшь мимо жандармов, а самого мороз по коже дерёт. Так бы вскочил и побежал. А нельзя – заметят. Риск такой – дух захватывает!

Зато уж утром тебе награда: у жандармов переполох, а наш народ радуется. Только и разговоров на слободке, что о новостях с фронта... Прибегают ребята, уверяют, будто своими глазами видели, как ночью с горы спускались партизаны, а он слушает и давится от смеха.

Но самое развесёлое было дело, когда наши Киев освободили. Женя и Аня тогда на большом листе нарисовали, как Гитлер удирает с Украины, а наши его в зад штыками поддают. Здорово получилось, ну, вылитый Гитлер. А он ещё с Женей сочинил ча-стушки и внизу приписал:

Не хотелось Гитлеру
С Украины уходить,

Нынче Гитлер что есть мочи
В свое логово бежит.
На германской на границе
Застрочил наш пулемёт.
Немцы лихо удирают,
Наши движутся вперёд.

Ночью, как велела Женя, он приклеил карикатуру с частушкой и листовку на дверях городской управы. А утром сбежалась толпа: читают, хохочут. Появились полицаи, жандармы, пришёл городской голова, красный, ругается. Полицаи ножами соскабливают с дверей карикатуру с листовкой, жандармы разгоняют народ. Суматоха, крики, немецкая брань. Вот потеха! Весь город тогда смеялся.

И вообще с тех пор, как Женя стала давать листовки, жизнь повернулась к нему неведомой стороной, полной приключений и волнующего азарта борьбы. Теперь дел ему хватало и на слободке, и на пристани, куда он приносил листовки пленным.

Удивительно, как у него сразу много появилось друзей. Но самый лучший друг-приятель – это, конечно, Громов. Матросы зовут его боцманом. А он мог бы на что угодно поспорить, что в дни осады видел, его в форме лейтенанта флота. Но, если сам Громов хочет зваться боцманом, пусть, будет боцман. Тут дело ясное: стоит эсэсовцам пронюхать, что он офицер, да ещё и коммунист, и ему – амба.

Чем понравился Лёньке этот русявый, сероглазый парень? То ли весёлостью, которой заражал всех, то ли смелой предприимчивостью, или, быть может, пристрастием к песням и острому словцу? Трудно разобраться. Он как-то сразу выделил боцмана среди других, и тот его тоже заметил. Боцман стал подбрасывать голубям просыпанное наземь зерно, а он вызвался помогать ему прятать продукты, унесённые из-под носа зазевавшегося надсмотрщика.

Прочитав первую принесённую им листовку, боцман сказал:

– Ну, браток, удружил. Для нас это теперь дороже хлеба. Давай ещё, надо, чтоб вся братва в концлагере читала.

– А как же ты пронесёшь? У вас же при входе обыскивают?

Боцман лукаво тогда улыбнулся и сказал:

– У меня есть потайное место. Я их вот сюда привяжу, – он дотронулся рукой чуть пониже колена. – Лягавые обыскивают, кончая карманами, и в ноги нам кланяться не хотят. А мы тому и рады. Всё под клёшем проносим, даже гранаты.

За полгода по заданию Жени он передал Громову двадцать разных листовок, и все они до одной попали в лагерь.

Всё-то боцману даётся, будто играючи, даже зависть берёт. Дня три назад боцман утаил целый воз всяких продуктов, а нынче ночью сбежал с товарищами из лагеря. Ловок, смел, с таким не пропадёшь. Правда, и без него, Лёньки, тут не обошлось. Кто показал, где и как спрятать эти продукты под развалинами? Он, Лёнька. Кто указал эту пещеру, чтоб схорониться после побега? Опять же он. Эх, кабы Громов взял его с собой в лес! Возьмёт или не возьмёт? Если возьмёт – не пожалеет, он ему здорово ещё пригодится.

С такими мыслями Лёнька подходил к пещере. Вот уже и тот обломок скалы, за которым скрывается вход в неё. Но что-то не видно следов, нет и дымка от костра! Неужто тропы не нашли?

Однако опасения его тут же рассеялись: из-за скалы показался матрос в бушлате, с охапкой сухого курая. Увидев Лёньку, матрос остановился, и на лице его заиграла широкая белозубая улыбка.

– А-а, певун! Наконец ты объявился. Я знал, что придёшь, – сказал он.

Лёнька побежал навстречу.

– А я уж думал, что вы заблудились.

– Поплутали маленько ночью. Не скажи ты об этой скале – не нашли бы пещеры.

Заходи и рассказывай. Видел наших на пристани?

– Видел. От них я и узнал о вашем побеге и сразу помчался сюда.

Посреди пещеры тлел костёрчик, над которым был подвешен на рогатках солдатский котелок. Боцман подбросил курая. Пламя вспыхнуло, разогнав полумрак подземелья, и Лёнька увидел пятерых матросов, спавших вповалку, чуть подальше – два ящика с галетами и консервами, а на разостланных мешках пудовые головы румынского сыра, три свиных окорока и целый ворох до одурения аппетитно пахнущих копчёных колбас. При виде такого изобилия глаза его заблестели, и он незаметно проглотил подступившую слюну. Чтобы не подвергать себя соблазну, он сел на доску у костра и отвернулся.

Это не ускользнуло от боцмана. Взяв круг колбасы и стопку галет, он положил их на доску рядом с Лёнькой и сказал:

– Ешь, браток, вволю, тут и твоя доля. И сказывай, что там наши говорили.

– Ух, что в лагере ночью творилось, когда вы сбежали! До утра всех пленных обыскивали, раздевали догола. У трёх нашли гранаты, ножи. Всех трёх избили и бросили в карцер.

Выпалив всё это залпом, Лёнька не мог больше удержаться и с жадностью набросился на еду. Глотая плохо прожёванные куски колбасы, он в то же время шнырял взглядом по сторонам. Вдруг он увидел два немецких автомата, прислоненных к стене; отблески пламени то вспыхивали, то гасли на воронёной стали стволов.

– Откуда у вас автоматы? – спросил он и, вскочив, стал осматривать их.

– Это наш первый трофей, – сверкнул зубами боцман. – Двое патрульных ночью напоролась на нас, а ребята, конечно, не растерялись.

– Значит, это вы ночью сняли патруль на Татарской слободке? – Лёнька с восторженным изумлением поглядел на боцмана. – То-то жандармы сейчас там прочёсывают – партизан ищут.

– Пусть поищут вчерашний день, – сказал боцман. – Жаль только, что последнюю гранату истратили. Нам бы теперь оружия – позарез нужно! Без оружия в лес не пробьёшься, да и к партизанам стыд заявиться с пустыми руками.

При этих словах сердце Лёньки учащенно забилося. Оружие – главный козырь, на который он рассчитывал. «Неужто не возьмёт?» – подумал он и, стараясь скрыть волнение, спросил, присаживаясь у костра:

– А какое нужно оружие и сколько?

– Любое. А сколько – сам сосчитай. Нас шестеро, да ещё человек десять прибегут из лагеря. То будет вторая партия, они отдельно, сами пойдут.

– А меня не считаешь? Мне скажешь тут оставаться? – спросил Лёнька, внутренне сжавшись и замирая в ожидании.

– Этого, браток, не бойся. Мы товарищей не бросаем.

Лёнька так и подскочил на доске.

– Правда? Дай честное слово, что возьмёшь!

– Нет крепче нашего матросского слова, – сказал боцман серьезно. – Не сомневайся.

– Возьми ещё и Димку с Витькой, – ты ведь их знаешь по пристани. А мы достанем вам оружия и патронов, сколько хочешь.

– Вы? – удивился Громов. – Байки разводишь!

Недоверие боцмана задело Лёньку.

– Выходит, я обманываю? – вспыхнул он. Хочешь, сейчас пойдём и я при тебе откопаю под разбитым танком две винтовки, обрез и автомат. А у Димки там закопано ещё побольше. И в другом месте ещё схоронено. Нужны патроны, гранаты, компас? Всё добудем.

– Вот не думал! – Теперь боцман с искренним изумлением смотрел на Лёньку. – Чего ж ты раньше-то молчал? Хоть намекнул бы.

– А мы сами в лес собирались.

– Нет, браток, никуда ты без нас теперь не пойдёшь, – боцман ласково похлопал Лёньку по плечу и притянул к себе. – Из тебя выйдет лихой разведчик. И я верю – сумеешь за сестру отомстить. А насчет Витьки и Димки мы ещё потолкуем. Может, в тот отряд их назначим.

Лёньку опалило жаром, грудь переполнила радость. Мечта его сбудется! Он пойдёт в лес! Слово боцмана – нерушимое моряцкое слово.

Вскоре Лёнька собрался домой. Прихватив добрый кусок ветчины и ещё колбасы с галетами, он напоследок сказал:

– Ночью ждите меня с Димкой и Витькой. Мы захватим лопаты и все вместе двинем на Максимову дачу. А завтра – на Сапун-гору.

Поглядеть со стороны, в жизни Лёньки будто ничто и не изменилось. Как и раньше, он с беззаботным видом, напевая, бегал по Зелёной горке, заходил к своим многочисленным друзьям-приятелям. Все как будто было по-прежнему. Но это так только казалось.

После каждого посещения товарищей карманы его штанов и ватника неизменно вздувались и отвисали. Чего-чего только не было в них: патроны, запалы для гранат, баночки с ружейным маслом, пачки сигарет, ручные компасы, отвёртки, напильники, а за пазухой ещё лежали планшет или свёрнутая гармошкой карта.

Когда темнело, он незаметно пробирался к пещере, выворачивал карманы и, случалось, оставался здесь до утра. Пока боцман с одним из матросов ремонтировал неисправный автомат или винтовку, Лёнька с Димкой кашеварили у костра или с другими матросами чистили и смазывали оружие, которого, кстати сказать, хватило на всех. Себе Лёнька оставил только револьвер, обрез, оказавшийся лишним, да пачку ракет с ракетницей. Другую пачку и две ракетницы он подарил Димке с Витькой. Всё, что Лёнька отложил себе, он завернул в плащ-палатку и ночью спрятал в развалинах своей хаты.

Теперь Лёнька всё время пребывал в состоянии нетерпеливого ожидания и нервной; приподнятости. «Скорей бы уж в лес», – говорил он боцману. Но для похода ещё многого не хватало, и пока что Лёнька целыми днями бегал по своим друзьям, добывая вещевые мешки, тёплые варежки, носки и разную мелочь, без которой в дальней дороге не обойтись.

Сердцем и мыслями он уже был в лесу. Придя к Жене за листовками, без устали мог рассказывать о боцмане и его товарищах, восторгаться их смелым побегом и с увлечением говорить о предстоящем походе. Скоро свершится то, что он задумал давно. Только бы вырваться в лес. Уж там-то он себя покажет!

В пылком воображении Лёньки возникали картины лесных схваток с карателями, смелые набеги на вражеские гарнизоны, летящие под откос поезда. И, конечно, он всюду первый с разведчиками прокладывает путь. Ему казалось, он уже слышит гром штурма фашистских укреплений под Севастополем, видит лихие атаки партизан и стремительное преследование улепётывающих фашистов. Он впереди, он нагоняет и косит, косит их автоматом, забрасывает гранатами. «Это вам, гады, за Клаву с Оленькой!» Наконец, через лысую вершину Зелёной горки врывается на улицы родной слободки и освобождает товарищей и Женю. А потом все они вместе с боем прорываются к центру, и он на портике Графской пристани водружает алый стяг.

Лёнька грезил наяву, а Женя, слушая его с улыбкой, тоже мечтала о долгожданном дне. Мечта у них одна, и в ней, как в фокусе, совместились вся их жизнь, всё будущее. Но когда неудержимая фантазия уж очень далеко заносила Лёньку, Женя одёргивала его:

– Не увлекайся. Больше выдержки. Помни: ты, у старосты и жандармов на замётке. Так что лишнего ребятам не болтай.

«Хорошо говорить – не болтай, – думает Лёнька. – Иной раз так хочется рассказать ребятам новости, только что вычитанные из свежей листовки, или кое-что намекнуть о предстоящем походе в лес, что губы до крови прикусишь».

Расчётливость, выдержка мало свойственны его горячей поэтической натуре. Но Женины слова охлаждали его пыл и заставляли следить за собой и помалкивать.

IX

Лёнька читал за столом у коптилки свежую новогоднюю листовку, ёрзал на стуле и захлебывался от восторга.

– Теперь им капут: закупорены, как в бутылке! Всех их тут в море выкупают!

И как было не ликовать: Перекоп взят, Керчь захвачена десантом, советские войска под Одессой, а на западе за Киевом и Житомиром вот-вот дойдут до границы!

Женя смеялась и радовалась вместе с Лёнькой. Листовку она знала уже почти наизусть. Ночью в тесном подземелье под домом, где помещалась подпольная типография, она вместе с Игорем и связным штаба подполья записывала сообщения с фронта и потом набирала их. Игорь, кончив писать, пустился отбивать чечётку и чуть не опрокинул приёмник. Когда набирала сводку, руки её дрожали, как в лихорадке, она путала буквы, знаки. Игорь, помогавший ей, тоже волновался и нечаянно рассыпал шрифт. Все пришлось набирать наново. Потом они спешили отпечатать и раздать листовку, чтобы связные успели разнести её и порадовать народ новостями.

Подсчитав трофеи, Лёнька подскочил на стуле:

– Смотри, Женя, смотри, сколько наши захватили танков, пушек, машин! Нынче в Москве даже будет салют – двадцать залпов. Вот посмотреть бы! Небось красота...

Красную площадь с Кремлём, улицу Горького он много раз видел на фотографиях в газетах и в «Огоньке» и теперь пытался представить себе этот радостный вечер там, в столице. Над кремлёвскими башнями – лучи прожекторов, улицы запружены народом, несметные толпы на площадях, песни, гул множества голосов и вдруг гром пушечных залпов. Тысячи разноцветных ракет букетами распускаются над домами, а потом с треском разлетаются в разные стороны зелёными, красными, белыми огоньками. Хорошо сейчас там. Можно громко, не боясь, что тебя услышат, выражать свой восторг, кричать ура, подбрасывать шапки, веселиться и петь, петь без конца.

– Вот бы и нам тут устроить салют! – при этих словах Лёнька вскочил, с грохотом отодвинул стул и подошёл к Жене, сидевшей на кушетке. – Давай сейчас разнесём

листовки, а потом тоже пустим ракеты. У меня их целая пачка. Пусть все наши видят, радуются!

А почему бы и не устроить своего салюта? В самом деле, случай подходящий. Пора растормошить народ, как тогда с карикатурой Гитлера, порадовать, подбодрить. И пусть фашисты знают: не удастся им скрыть своих поражений. Пусть также знают, что никакими репрессиями не задушить народ. Народ всегда был и будет со своей Родиной. Женя высказала эти мысли.

– Правильно! – обрадовался Лёнька и заторопился. – Давай листовки; враз их разнесу, а потом мы с Димкой и Витькой так пальнём, что все увидят. – Он взглянул на будильник, стоявший на столе. – Сейчас девять. Как раз поспеем. Давай скорей...

– погоди. А сумеешь так сделать, чтобы никто вас не заметил?

– Чего ты боишься?.. Что нам, первый раз?! – Недоверие задело Лёньку. – Помнишь, месяц назад пускали ракеты, когда наши самолёты бомбили станцию и порт?

– Помню.

– А вот того и не знаешь, что это я с Димкой пускал. И никто не знает, – Лёнька торжествующе смотрел на Женю. – Я даже тебе не сказал.

– Ну, хорошо. Только держитесь от пещеры с матросами подальше, чтобы шпики не пронюхали и не бросились к ним.

– Знаю. А за нас не бойся. Как увидишь ракеты, значит, – всё в аккурат.

Получив дачку листовок, Лёнька шмыгнул за дверь и бесследно растаял во тьме.

Сколько раз он вот так появлялся ночью и исчезал. Дело делал он чисто, не раз доказывал своё проворство, ловкость, находчивость, и всё же, проводив его, Женя всегда беспокоилась, опасаясь случайного провала. И сейчас, томясь в ожидании, она то и дело поглядывала на часы. А стрелки будто застряли на месте.

Чтобы как-то скоротать время, Женя взяла книгу и, придвинув стол с коптилкой, легла на кушетку. Глаза её бегали по строчкам, а беспокойные мысли сверлили, сверлили. Она откладывала книгу, снова брала её в руки, но прочитанное не задерживалось в памяти, а оставалось где-то за пределами сознания.

Будильник показывал уже двенадцатый час. Женя накинула на плечи пальто и вышла во двор.

Глухая застоявшаяся тьма. Ни одной звёздочки; низкие облака застлали небо. В воздухе промозглая сырость, прохватывающая до дрожи.

Запахнув плотнее пальто, Женя прошла мимо виноградных лоз к забору. Здесь пахло влажной землей, прелыми листьями, каким-то ещё грустным, едва уловимым запахом тления. Она долго вглядывалась в темноту и напрягала слух. Ни огонька, ни про света в небе, ни звука. Даже лая собак не слышно. А ведь где-то тут рядом люди ютятся в погребах, хатёнках, подвалах. Чуть левее, внизу, раскинулась станция. Но и там всё мертво: ни человеческого голоса, ни лязга буферов, ни гудка паровоза. Давящая тишина.

Зябко поёжившись, Женя повернула обратно к дому. И в этот миг тьма перед ней расступилась. Донёсся сухой треск, и красные ракеты одна за другой высоко взлетели над Морозовой горкой. Заревом вспыхнули низкие облака и отражённым багряным светом залили притаившуюся слободку. Описав крутую дугу, ракеты погасли, рассыпав во тьме светящуюся пыль. И снова тьма. Ещё черней, чем прежде.

Сердце Жени гулко билось. Она напрягала зрение, стараясь различить силуэт горы, но чернота поглотила и дали, и ближние постройки, и даже кусты смородины рядом.

Но вот взвились гроздь белых ракет, озарив трепетным голубым сиянием гору, склоны её, усыпанные домишками, и станционные пути на дне котловины. И опять над головой с треском расплеснулись яркие брызги и растворились во тьме.

До слуха Жени донесся скрип двери в соседней хате, шаги и удивленный голос девочки: «Мам, смотри, опять, кажись, листовка». – «И в самом деле», – отозвалась мать.

И в других дворах то там, то здесь хлопали двери, повизгивали садовые калитки, – люди выскакивали из хат во дворы, в огороды. Улица просыпалась, наполняя ночь приглушенным гулом удивлённых, встревоженных и радостных голосов.

Подождав, когда вспышки огней прекратились, Женя вошла в дом.

Х

Утром, лишь только Женя успела одеться и поесть, хлопнула во дворе калитка. Через минуту дверь комнаты распахнулась, и на пороге появился Игорь. Лицо красное, пальто распахнуто, грудь ходит, точно кузнечные меха. Видно было, что он бежал.

С тех пор, как Женя стала работать в подполье, они друг к другу не заходили, а встречались либо на конспиративной квартире в подпольной типографии, либо в заранее условленном месте. Чем вызвана такая неосторожность с его стороны? Она плотно прикрыла дверь комнаты:

– Что случилось?

– Об этом и я хочу тебя спросить! – Игорь перевёл дух. – Скажи, кто тут ночью пускал ракеты?

– Кто? Лёнька. Он разнёс листовки, а потом в честь победы на фронте устроил новогодний салют.

– Это твой голосистый певун, что стишки под карикатурой писал?

– Он самый.

– Ай да парнишка! Ха-ха-ха-ха! – Игорь залился грудным раскатистым смехом.

– Ты чего? – улыбнулась Женя, невольно поддаваясь его неудержимому веселью.

– Ну и отколол же он номер... Жаль такого в лес пускать. Его бы к нам в штаб связным. Ха-ха-ха!

– Чего ты смеёшься? В чём дело?

– Ты знаешь, он своими ракетами весь город поднял на ноги! Все говорят, что пускали их парашютисты-десантники. Народ радуется. Вот-вот ждут советского десанта под Севастополем и наступления наших на Перекопе и в Керчи.

– Это всё Лёнька, – засмеялась и Женя, – он придумал новогодний подарок!

– А шпикам – мороку: будут ловить «парашютистов». Молодчина твой Лёнька.

– Ну хорошо, Игорь, иди, а то мне пора на работу.

– Иду, иду. Вечером жду, вместе будем записывать передачу.

Игорь первым вышел на улицу и, свернув к обрыву, крутой тропой сбежал вниз к железнодорожным путям станции.

Ушёл он вовремя. Женя видела из окна, как на дороге, где желтел глинистый выступ Зелёной горки, показался взвод полевых жандармов и полицаев. Начинался прочёс. Подождав минуты две, она тоже вышла на улицу.

Жандармы уже шарили по хатам, заглядывали в погреба, сараи, развалины. Группа полицаев поднималась в гору, чтобы оцепить слободку. Пока Женя дошла до вокзала, её дважды останавливали и проверяли документы.

За виадуком облавы не было, и она прибавила шагу. Впереди открылась Южная бухта. День серый, пасмурный, и вода в ней тускло-зеленоватая. У пристани гул голо-сов, скрип лебедок – пленные разгружали прибывший морской транспорт.

Вдоль бухты по косогору тянутся в город трамвайные рельсы, заржавевшие, местами скрюченные взрывами бомб; а рядом с ними бежит дорожка, прижимаясь к глинобитному забору, за которым обрыв, нависший над причалами бухты.

Женя поднималась этой дорожкой и всё время думала о Лёньке и ночном салюте. Бесспорно, затея ему удалась, но всё ли сошло гладко?

Она одолела уже половину подъёма, как вдруг перед ней из пролома в стене выскочил Лёнька. Весёлые морщинки тонкими лучиками разбегались от его улыбчивых глаз.

– А я как раз тебя поджидаю, – сказал он. – Ну как, видела?

– Хорошо, Лёня, вышло. И, главное, вовремя.

– Правда? Я даже не думал, что так здорово получится.

Резонанс, вызванный ночным «салютом», удивил его самого, и он чувствовал себя героем дня.

– погоди, не то ещё будет, когда мы из лесу принесём взрывчатку. Мы им тут на складах такой фейерверк устроим, что век помнить будут.

– Скажи, вас никто не видел, когда вы спускались с горы? – спросила Женя.

– А мы и не спускались, а прямо по горе прошли, к боцману в пещеру, а оттуда утром сюда, на пристань.

– Правильно сделали. У нас на слободке сейчас облава. Ну, беги, пока никто не видел. И в другой раз на улице не подходи.

Лёнька юркнул в пролом и исчез из виду.

После этого разговора опасения и тревоги за Лёньку у Жени рассеялись.

Но вечером, возвращаясь домой, она увидела на дороге уличного старосту, окружённого толпой мальчишек. Навстречу ей шёл Лёнькин товарищ Санька. Поравнявшись с ним, она спросила, о чем староста разговаривает с ребятами.

– Он всё выспрашивает, у кого из нас есть ракетницы. А мы, дураки, так ему и сказали, – Санька, хитро подмигнул и озорно засмеялся.

«Выспрашивает? Значит, что-то учуял и теперь ищет среди ребят «языка». Как бы кто из них не сболтнул про Лёньку или Димку с Витькой. Ведь ребята все знают друг про друга».

XI

Прошло недели две. Новые радостные вести с фронта о прорыве блокады Ленинграда отодвинули и заслонили собой ночное новогоднее происшествие, и оно мало-помалу стало забываться. Лёнька уверял, что старосте ничего не удалось выведать у ребят, и Женя была довольна, что всё сошло благополучно.

Но не так всё обстояло, как ей казалось. Придя как-то с работы, она занялась уборкой квартиры и стала протирать снаружи единственное сохранившееся в окне стекло. Вдруг послышался сильный рёв мотора. Обычно так надрывно гудели грузовики, когда поднимались на Зелёную горку, преодолевая крутой подъём. Гул приближался, усиливался.

Улица самая дальняя, тупиковая, никакого движения транспорта на ней не было. Днём иногда пробегут мальчишки, пройдут пешеходы, а после пяти, как сейчас, – мертвым-мертво, разве что изредка прошмыгнет по дороге бездомная кошка. Появление машины после наступления комендантского часа всегда привлекало всеобщее внимание.

Женя, стояла у раскрытого окна и ждала. Вот из-за жёлтого выступа горы, наконец, показался высокий тёмный кузов с железной решёткой впереди над кабиной. Полицейский «чёрный ворон»!

За кем он? Кто очередная жертва тайных доносов? Как и все в городе, она знала: кого увозила эта машина, тот не возвращался. Путь его был в полицейский подвал на Пушкинскую, а потом в противотанковый ров на Балаклавском шоссе или, в лучшем случае, в концлагерь, а оттуда на каторжные работы в Германию.

Машина пронеслась мимо крайних домишек и круто затормозила у развалин Лёнькиной хаты.

Женя содрогнулась, припала к косяку окна и побелела. Неужели Лёнька не слышит? Не выскочит? Впрочем, теперь уже ему не уйти.

Из машины высыпали жандармы и оцепили развалины, а офицер-эсэсовец, переводчик с собакой на поводке и староста, который последним вылез из кузова, подошли прямо к убежищу.

Только теперь, видимо, Лёнька услышал топот сапог и выскочил из своей каменной конуры. На плече у него болтался стеганный ватник, который он не успел даже надеть. Лёнька остановился у выхода и озирался, как затравленный зверёк: все пути были отрезаны. Поняв, что ему не скрыться, он решил спасти своих пернатых друзей. Одним движением он сдернул сеть с клетки и свистнул. Два белых голубя взвились над дорогой.

Офицер и переводчик с собакой протиснулись в убежище, но вскоре вышли обратно и последовали за ищейкой, которая, обнюхивая землю, приближалась к развалинам хаты. Возле груды битого жёлтого ракушечника она остановилась.

Офицер крикнул, и жандармы принялись разбрасывать камни.

Женя видела, как из-под кучи ракушечнику они вытащили что-то завернутое в пёструю немецкую плащ-палатку. Все столпились вокруг, разглядывая находку.

Что они там нашли? Листовки? Быть не может, Лёнька никогда их у себя не хранил. Неужели оружие?! При этой мысли Женя ужаснулась; во рту у нее пересохло, и она почувствовала, как холод сковывает сердце.

Два жандарма схватили Лёньку и повели. Он упирался, пробовал вырваться, но споткнулся о камень и упал; его волоком потащили к машине и втолкнули в кузов. Последними сели в кабину офицер и староста.

«Ворон», сделав крутой разворот, помчался вниз и скрылся за глиняным выступом горы.

Улица опустела. Только два голубя беспокойно метались в небе, кружили, падали и поднимались и снова кружили над слободкой...

ХII

Не лились больше песни, не звенел над Зелёной горкой задорный Лёнькин голос. Слободка притихла, погрузнела, и Жене казалось, будто вынули из нее звонкую певучую душу.

Целыми днями два белых голубя метались над ней из края в край, точно высматривая, разыскивая кого-то.

Приходили ребята и бросали корм возле Лёнькиного убежища. Птицы садились, клевали, и никто их не трогал, не покушался на них. Они снова взлетали в небо и кружили, кружили...

И мысли Жени метались, кружили. Тревожные, бередящие душу мысли. Что с Лёнькой? Выстоит ли? Не запутался бы на допросе. Замучают его!

Только на следующий день утром она узнала от Ани, что жандармы нашли под камнями развалин обрез, револьвер, ракетницу и одну листовку. В тот же день она слышала в управе разговоры об аресте партизанского разведчика и что полиция ищет его сообщников.

Шли дни. Неизвестность томила, угнетала, пугала. И Женя, поговорив с Игорем, решила сходить в комендатуру что-нибудь разузнать. Но чтобы не навлечь на себя подозрение, она пошла вместе с Лёнькиной тётёй, выдав себя за её дочь. Однако попытки добиться в комендатуре свидания или передачи и что-нибудь выведать о Лёньке не имели успеха. Переводчик сказал, что доступ к арестованным партизанам категорически воспрещён.

Тогда Женя пошла прямо к полицейскому подвалу. На посту у ворот стоял толсто-мордый, с маленькими заплаканными глазками татарин Ахмет из отряда карателей. Несколько раз она пробовала заговорить с ним и выспросить о Лёньке, но Ахмет либо от-малчивался, либо изрыгал похабные ругательства. Женя ушла ни с чем.

Однако она не теряла надежды. И сегодня утром отправилась на Пушкинскую, часа за полтора до того, как идти на работу в управу.

Несмотря на рань, у полицейского подвала толпились женщины, девушки со свертками и узелками для передач. Несколько человек стояли в очереди возле ворот – счастливицы; получившие пропуска на свидание. Остальные – неудачники, толпились на мостовой.

На этот раз Женя решила не обращаться к часовому и стала прохаживаться вдоль длинной стены подвала, потихоньку напевая «Раскинулось море широко». А вдруг Лёнька услышит, откликнется?

Этот длинный подвал под разбитым снарядами серым двухэтажным домом немцы недавно отремонтировали, наделали десятка два бетонных клеток – общих и одиночных камер, в которые бросали арестованных. Несколько окошек, выходящих на улицу, наглухо были задраены досками. Возле одного из них стояла женщина и, опасливо оглядываясь на постового, переговаривалась с заключённым, даже не видя его.

Где-то в одной из этих холодных бетонных клеток томился и Лёнька. Но где, в какой из них? Женя медленно двигалась по тротуару вдоль стены, как бы случайно задерживалась у окошек камер и, напевая, чутко прислушивалась. Дойдя до очереди у ворот, она поворачивала обратно. Иногда шум и говор стихали. Тогда она тоже умолкала и отходила от стены, но, убедившись, что охранник за ней не следит, двигалась дальше.

Несколько раз Женя прошла взад-вперед, а Лёнька голоса не подавал. Быть может, он в камере, выходящей во двор? Но как туда проникнуть? Дать денег? Прошлый раз одна из женщин говорила, что за деньги охранники пускают во двор и даже разрешают переговариваться у окошек. Попытаться?

Но тут Жене почудилось, будто кто-то тихо поёт. Да это голос Лёньки! И он пел ту же песню, что и она, пел где-то рядом. Женя подошла к крайнему окошку и окликнула.

– Я здесь, здесь... Погоди, я сейчас, – услышала она торопливый шёпот. – Я бы и раньше... Но тут охранник ходил, боялся, – услышит.

– Ты один?

– Один.

В средней доске что-то скрипнуло, и Женя увидела, как тёмный овальный сучок вдруг провалился, и Лёнька прильнул к глазку.

– Теперь тебя вижу! – обрадовался он. – Я знал, что ты придёшь... И завтра приходи обязательно...

– Приду, – Женя вспомнила, что завтра Лёнькин день рождения, – обязательно приду. Как у тебя?

– Ничего они от меня не добились...

Лёнька шептал торопливо, точно боясь, что не успеет всё высказать. Говор толпы, шарканье ног на мостовой заглушали шёпот, но по отдельным отрывочным фразам, словам Женя поняла, что следователь допытывается главным образом, кто пускал ракеты и где те партизаны, которые дали ему оружие и листовку.

– А ты что?

– Не перебивай, – торопился Лёнька. – Я сказал: листовку нашёл на дороге, оружие подобрал в окопах, а кто пускал ракеты, не знаю. Каждый день допрашивают и бьют... Пстой, опять идёт...

Он смолк и вставил сучок на прежнее место.

Женя чуть отодвинулась от стены и, не сводя глаз с окошка, ждала.

Бьют! Не имея достаточно улик, выколачивают признания! Она вспомнила, как одна из подруг, живущая рядом с полицией, говорила, что каждый день слышит ужасающие вопли и стоны истязуемых на допросах, а по ночам страшный гул моторов. Но даже бешеный рёв машин, которые предусмотрительно заводились заранее, не могли заглушить крики людей, увозимых на расстрел. Жуть охватила Женю при мысли о том, какие страдания вынес Лёнька за эти несколько дней. А что ещё ему предстоит...

Но вот в доске скрипнуло, сучок выпал из своего, гнезда, и она снова слышит торопливый шёпот:

– Ничего, что бьют. Выдержу... Пусть хоть удавят, ничего не скажу.

– Держись, Лёня. Держись!.. Будь мужественным, – горячо прошептала Женя.

Топот ног, гул голосов опять заглушили Лёнькин голоски она расслышала только его последний вопрос:

– Как мои голуби?

В эти минуты думать, беспокоиться о голубях! Как это похоже на Лёньку. Женя постаралась успокоить его, рассказав о том, что ребята заботятся о птицах, кормят и оберегают их.

Несколько секунд Лёнька молчал, а затем, вздохнув, сказал:

– Ты возьми их себе или Димке отдай, а то всё равно постреляют.

И столько в этих словах было тихой грусти, безысходной тоски, что у Жени слёзы выступили на глазах. Она хотела ободрить, обнадежить мальчика, но в это время часовой, заметив её, разразился бранью и угрожающе вскинул автомат:

– Уйди. Стрелять буду.

Женя поспешила отскочить от подвала и скрыться в толпе.

Весь этот день она не находила себе места. Камнем давили сердце предчувствия. Мысленно она возвращалась к последней Лёнькиной фразе.

Почему в его голосе было столько печали, мучительной грусти? Слова его о голубях прозвучали, как последняя просьба, как завещание. Или ему объявили, и он знает уже свою судьбу, но, боясь огорчить её, не решился сказать страшную правду? Сказать, что никому – ни ей, ни матросам, ни Димке с Витькой, теперь не угрожает опасность провала, что он всё-всё взял на себя...

Но, быть может, она ошибается? Не всё ведь ещё потеряно. Его могут бросить в концлагерь, наконец, выслать в Германию, как высылают многих. Настанет день, и он обретёт свободу, как и другие, томящиеся в неволе...

Утром она немного задержалась, укладывая в мешочек свой свитер, шерстяные носки, кое-что из еды и лакомство – кулёк с сушёными фруктами. Она решила отдать охраннику все немецкие марки, что у неё были, лишь бы передать узелок и хотя бы этим порадовать Лёньку. Ведь сегодня ему исполнилось пятнадцать лет!

День был выходной. Возле подвала посетителей было больше, чем в обычные дни, и очередь у ворот длинней. Женя подошла к окошку крайней камеры и, выждав, когда рядом никого из посетителей не оказалось, окликнула Лёньку.

Но сучок в доске не проваливался, и Лёнька не отзывался. Чтобы не привлечь внимания Ахмета, стоявшего у ворот, она затерялась в толпе, а спустя немного времени вернулась и снова дважды позвала. Но и на этот раз Лёнька не подошёл к окошку.

Почему он молчит? Или нынче он в другой камере? Напевая, она, как вчера, стала прохаживаться у стены по тротуару

Прошло четверть часа, но Лёнька и на песню не откликнулся. Женя решила попробовать проникнуть за ворота или на худой конец вручить передачу. Держа в руке деньги так, чтобы Ахмет мог их видеть, она подошла и спросила его, в какую камеру переведен Лёнька.

Взгляд часового скользнул по ее руке. Не стесняясь других посетителей, он ловким привычным движением зажал деньги в кулаке и ответил:

– Нет твой Лёнька. Он там, – Ахмет указал большим пальцем куда-то вверх через плечо.

– Где «там»? – не поняла Женя. – На допросе?

– Твой Лёнька песни поёт на Луна. – Ахмет расхохотался, довольный своей шуткой. – Нэ понымаешь? Его расстрелял. – Для большей выразительности он прижал к животу висевший на ремне автомат и повёл им из стороны в сторону.

Женя покачнулась, как от удара, и отступила назад.

...Медленно брела она по улицам, спотыкаясь о камни, не сознавая, куда идёт. Слезы застилали глаза, а ей казалось, солнце ослепило её и тугой январский ветер пошатывает, мешает идти. Она не помнила, как очутилась на скамье бульвара у развалин панорамы. Взгляд её блуждал по обломкам разрушенных стен и железной решётке купола, по голым деревьям и большой старой клумбе, заросшей сорняком, точно забытая могила, а неотступные горькие мысли не покидали её, рвали душу на части.

Пятнадцать лет! Пора романтической юности, окрылённой мечты и высоких благородных стремлений служить народу; пора пробуждения самостоятельной мысли и возмужания. И вдруг все оборвано... Оборвано в самом начале, на пороге сознательной осмысленной жизни! Свастика, подобно удаву, обвивает стальными кольцами и душит, душит всё живое, непокорное, губит тысячи юных, гордых, талантливых жизней. И всё только за то, что они ищут новых неизведанных путей, хотят идти своей тропой, жить по-своему и петь песни, как хотел Лёнька, для всех-всех людей на свете. Женя вспомнила тоскливо притихшую слободку, голубей, метавшихся в небе, последнюю Лёнькину просьбу, и слёзы потекли по её запавшим щекам, а губы беззвучно шептали:

– Ах, Лёнька, Лёнька! Милый синеглазый певун! Не петь тебе больше песен... не пускать голубей...

* * *

Друг мой, юный читатель! Будешь бродить по севастопольским холмам – загляни и на Зелёную горку к старожилам слободки. И, хотя минуло уже двадцать лет, много хорошего вспомнят они и расскажут тебе о пионере Лёне Славянском и его вожатой Жене Захаровой.

Той же весной, в дни провала подполья, жандармы схватили и Женю. В начале апреля, когда в садах и на Язоновском редуте буйно цвел миндаль, Женя с товарищами была расстреляна в том же противотанковом рву, что и Лёня.

Публикуется по: Азбукин, Б. Лёнькин салют: докум. повесть / Б. Азбукин. – М. : Мол. гвардия, 1975. – 88 с. (https://royallib.com/read/azbukin_boris/lenkin_salyut.html#0)